

Джоан Дидион
Синие ночи

Joan Didion
Blue Nights

Джоан Дидион Синие ночи

Перевод с английского
Василия Арканова



издательство **АСТ**
Москва

УДК 821.111(73)-3

ББК 84(7Сое)-44

Д44

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Дидион, Джоан

Д44 Синие ночи / ДЖОАН ДИДИОН; пер. с английского В. АРКАНОВА. — Москва: АСТ: CORPUS, 2013. — 192 с.

ISBN 978-5-17-079645-8

Джоан Дидион (р. 1934) — писательница, журналистка, сценарист, автор пяти романов и восьми книг документальной прозы, среди которых знаменитые сборники очерков “Крадясь к Вифлеему” (1968) и “Белый альбом” (1979). Среди фильмов по сценариям Дидион — “Паника в Нидл-парке” (1971), призёр Каннского кинофестиваля.

Последние книги писательницы стали осмыслением утраты самых близких людей. “Год магического мышления” (2005), получивший Национальную книжную премию США, рассказывает о смерти мужа Дидион — писателя Джона Грегори Данна, с которым ее связывали и тесные творческие отношения. Книга была переработана в моноспектакль, блестяще сыгранный на Бродвее Ванессой Редгрейв.

“Синие ночи” посвящены Кинтани-Роо — приемной дочери Дидион и Данна. Это откровенное и бесстрашное размышление о любви и материнстве, о времени и смерти. Джоан Дидион с поразительным мужеством превращает свою боль в прекрасную, человечную, возвышающую прозу.

УДК 821.111(73)-3

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-079645-8

© 2011 by Joan Didion

© В. Арканов, перевод на русский язык, 2013

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013

© ООО “Издательство АСТ”, 2013

Издательство CORPUS ®

Эта книга — Кинтани

1

На определенных широтах бывают такие вечера накануне и сразу после летнего солнцестояния (недели две-три от силы), когда сумерки, густо синяя, подолгу не сменяются тьмой. Пора синих ночей незнакома субтропической Калифорнии, где я жила большую часть времени, о котором хочу рассказать, и где дни сгорают стремительно, испепеляемые падающим за горизонт солнцем, но характерна для Нью-Йорка, где я живу сейчас. Эта пора наступает в конце апреля — начале мая, на стыке сезонов, когда вроде и не теплеет (по-настоящему потеплеет еще не скоро), но близость тепла ощутима почти физически — лето уже не просто отдаленная возможность, а ясная перспектива. Вы проходите мимо окна, направляетесь в Центральный парк и окунаетесь в синеву: воздух пропитан ею, и за час с небольшим эта синь, темнея и сгущаясь, становится все насыщеннее, пока наконец не обретает сходство с сапфировой феерией витражей Шартрского собора в ясный полдень

ДЖОАН ДИДИОН

или ультрамариновым отсветом излучения Черенкова, возникающим меж топливных стержней в бассейне ядерного реактора. В старину французы называли это время суток l'heure bleue. Англичане говорили "смеркание". Само слово "смеркание" переливается, раскатывается эхом (смеркание, мерцание, отблески, высверки), рождая в голове образы домов, где торпливо прикрывают ставни, и садов, окутанных тенью, и рек, трущихся в полумраке о поросшие травой берега. В синие ночи кажется, будто тьма так и не наступит. А когда пора синих ночей проходит (а это рано или поздно случится, всегда случается), вас охватывает настоящий озноб: вы буквально заболеваете, вдруг осознав, что синевы все меньше, дни идут на убыль, лето почти прошло. Я назвала эту книгу "Синие ночи", потому что, начиная ее, хотела написать о болезнях, отсутствии перспективы, тающих днях, неизбежности увядания, угасании яркости. Синие ночи необычайно ярки, но именно эта их яркость и является предвестником угасания.

26 июля 2010.
Годовщина ее свадьбы.
Ровно семь лет назад мы извлекли из коробок флориста гавайские леи и выплеснули воду, в которой они прибыли, на траву перед собором Св. Иоанна Богослова на Амстердам-авеню. Белый павлин распустил хвост. Поплыли звуки органа. Она вплела белый стефанотис в толстую косу, ниспадавшую на спину. Но, когда набрасывала тюлевую вуаль, стефанотис выскользнул из волос и упал. Сквозь тюль чуть пониже ее плеча проступила татуированная плюмерия. “Ну, поехали”, — шепнула она. Девочки в леях на тонких шейках и нежно-палевых платяицах побежали к ней по проходу, чтобы сопроводить к алтарю. Когда все положенные слова были произнесены, те же девочки высыпали следом за ней на ступени перед главным входом и прошли мимо павлинов (двух переливающихся, сине-зеленых, и одного белого) в зал для приемов при соборе. Там ждали сэнд-

вичи с огурцами и кресс-салатом, торт персикового цвета из кондитерской Пайара, розовое шампанское.

Ее выбор, до последней мелочи.

Ностальгический выбор — переключка с прошлым.

Мне ли не знать.

Когда она сказала, что на свадьбе должны быть сэндвичи с огурцами и кресс-салатом, я вспомнила, как в день ее шестнадцатилетия она разносила блюда с такими вот сэндвичами по столам, расставленным вокруг бассейна. Когда она сказала, что на свадьбе должны быть леи вместо букетов, я вспомнила, как года в три (в четыре? в пять?) она вышла из самолета в аэропорту Брэдли-Филд в Хартфорде в леях, подаренных ей накануне вечером перед отъездом из Гонолулу. В то утро в Коннектикуте термометр показывал -6^1 , а она была без пальто (улетая из Лос-Анджелеса в Гонолулу, мы не взяли теплой одежды — кто знал, что возвращаться придется через Хартфорд?), но ее это не смутило. Дети в леях пальто не носят, объяснила она.

Переключка с прошлым.

В тот день все было так, как она задумала, кроме одного. Ей хотелось, чтобы девочки сопровождали ее к алтарю босиком (в память о Малибу, где она всегда бегала босой, ступни в вечных занозах от строганных досок открытой веранды, и пятнах мазута с пляжа, и кляксах йода, которым я замазывала царапины от гвоздей на лестнице), но девочкам купили новые

1 Примерно -21 по Цельсию. (Здесь и далее — прим. перев.)

туфельки по случаю свадьбы, и им хотелось покрасоваться в них.

МИСТЕР И МИССИС ДЖОН ГРЕГОРИ ДАНН
ИМЕЮТ ЧЕСТЬ ПРИГЛАСИТЬ ВАС
НА ЦЕРЕМОНИЮ БРАКОСОЧЕТАНИЯ ИХ ДОЧЕРИ
КИНТАНЫ-РОО
С МИСТЕРОМ ДЖЕРАЛДОМ БРАЙАНОМ
МАЙКЛОМ
В СУББОТУ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ИЮЛЯ,
В ДВА ЧАСА ДНЯ.

Стефанотис.

Тоже перекличка?

Неужели она помнила стефанотис?

А иначе зачем бы его заказывать, вплетать в косу?

Перед нашим домом в Брентвуд-парке, где мы прожили с 1978 по 1988 год (два этажа, большая прихожая, ставни на окнах, при каждой спальне своя гостиная), домом, с виду настолько традиционным для пригородов Америки, что он выделялся на фоне тамошних богатых особняков (“их представление об американской мечте” — так она о нем отзывалась, давая в свои двенадцать понять, что сама бы никогда такой не купила, не в ее вкусе, типичное стремление ребенка дистанцироваться от взрослых; дети всегда уверены, что им необходима эта дистанция), снаружи, у самых дверей веранды, рос куст стефанотиса. Выходя, я всякий раз задевала рукой его восковые цветы. Там же ютились лаванда и мята, лохматые заросли мяты,

вспоенной вечно подтекавшей из наружного крана водой. В то лето, когда мы въехали в этот дом, Кинтане предстояло пойти в седьмой класс школы, которая тогда еще носила название Уэстлейкской женской гимназии в Холмби-Хиллз. Кажется, будто это было вчера. Когда мы оттуда выехали, она заканчивала Барнард-колледж. Кажется, что и это было вчера. К тому моменту и стефанотис, и мята погибли по воле будущего владельца, который потребовал, чтобы перед продажей мы извели термитов, обработав дом фтористым сульфуром и хлорпикрином. Примечательно, что, внося задаток, означенный будущий владелец передал через своего агента (очевидно, опасаясь, как бы мы не передумали продавать), что его особенно прельщает наш сад, где он хотел бы когда-нибудь выдать свою дочь замуж. Это было недели за две до того, как он потребовал обработать дом фтористым сульфуром, уничтожившим стефанотис и мяту, а заодно и розовую магнолию, которой двенадцатилетняя девочка, не упуская случая подтрунить над родительским представлением об американской мечте, много лет любовалась из окон собственной гостиной на втором этаже. Я была уверена, что термиты туда вернуться. А вот розовая магнолия — никогда.

Продав дом, мы переехали в Нью-Йорк.

Где вообще-то я уже жила раньше — с двадцати одного, когда, окончив отделение английской литературы в Беркли, начала работать в журнале *Vogue* (настолько не понимая, куда попала, что, когда в отделе кадров компании “Конде Наст” меня спросили,

какими языками свободно владею, ответила: “Среднеанглийским”) до двадцати восьми, то есть до замужества.

И где жила потом начиная с 1988-го.

Тогда почему же я написала в начале, что большая часть времени, о котором хочу рассказать, прошла в Калифорнии?

Почему вдруг почувствовала себя предательницей, когда обменивала калифорнийские водительские права на нью-йоркские? Разве это не пустая формальность? Подошел очередной день рождения, пришло время обновить права — какая разница, где это делать? Ну будет на новой корочке новый номер, а не тот, который получила в пятнадцать с половиной лет в штате Калифорния, делов-то. Не говоря о том, что те права были с ошибкой. О которой я знала. В графе “рост” стояло “5,2 фута¹”. Хотя мой рост (максимальный, на пике физической формы, до того как старость укоротила меня почти на дюйма) всегда был 5,1 $\frac{3}{4}$.

Почему я так расклеилась из-за прав?

Что это было на самом деле?

Страх, что расставаясь с калифорнийскими правами, прощаюсь с юностью? Что больше никогда не вернусь в свои пятнадцать с половиной лет?

А разве мне хотелось вернуться?

Или история с правами всего лишь пример “очевидной неадекватности реакции пациента на события”?

1 Примерно 158 см.

Я взяла фразу “очевидная неадекватность реакции пациента на события” в кавычки, потому что фраза принадлежит не мне.

Карл Меннингер использует ее в книге “Война с собой”, описывая склонность некоторых людей слишком остро реагировать на события, которые большинству из нас кажутся обыденными, даже предсказуемыми. Эта склонность, по утверждению автора (между прочим, доктора медицинских наук), нередко встречается у самоубийц. Он приводит в пример девушку, впавшую в депрессию и покончившую с собой из-за неудачной стрижки. Пишет о мужчине, который свел счеты с жизнью, когда ему запретили играть в гольф, и о ребенке, совершившем самоубийство после смерти любимой канарейки, и о женщине, наложившей на себя руки из-за опоздания на два поезда.

Заметьте: не на один поезд — на *два*.

Вдумайтесь.

Как много обстоятельств должно было сойтись, чтобы не оставить этой женщине шансов.

“В каждом из этих случаев, — поясняет Меннингер, — ценность прически, гольфа и канарейки была сильно завышена: предметы стали объектом столь глубокой эмоциональной привязанности, что их потеря (или всего лишь угроза их потерять) привела к фатальным последствиям”.

Вообще-то не нужно быть доктором медицинских наук, чтобы до этого додуматься.

Интересно другое: почему ценность прически, гольфа и канарейки (не говоря уж о втором из двух

пропущенных поездов) оказалась настолько завышенной? Меннингер и сам хотел бы это понять. “Откуда берутся эти непомерные сверхожидания и завышенные оценки?” — вопрошает он. Но тем и ограничивается, очевидно, сочтя, что ответ содержится в самом вопросе. Или решив, что его дело — обозначить проблему, а над разгадкой пусть бьются теоретики психоанализа. Неужели я и впрямь испытывала столь “глубокую эмоциональную привязанность” к своим калифорнийским правам, что их потеря могла привести к “фатальным последствиям”?

Неужели всерьез считала замену одних прав на другие — потерей?

Страдала в разлуке?

И чтобы покончить с темой “глубокой эмоциональной привязанности”...

В последний раз я видела наш брентвудский дом, пока он еще был нашим, в тот день, когда здоровенная фура увозила в Нью-Йорк все, что мы на тот момент нажили, включая универсал “вольво”. Мы стояли на крыльце, глядя ей вслед, а потом, когда фура скрылась за поворотом на улицу Мальборо, прошли через опустевшие комнаты на веранду для символического прощания. Грусть расставания была изрядно отравлена всепроникающей вонью фтористого сульфурита и видом горстки мертвой листвы на месте, где еще недавно росли розовая магнолия и стефанотис. Даже в Нью-Йорке каждая распакованная коробка обдавала меня сульфуритовым душком. Когда в свой следующий приезд в Лос-Анджелес я решила проехать мимо нашего тепер уже бывшего дома, его не оказалось — снес-

ли, чтобы через год-другой возвести новый, чуть побольше размером (за счет комнаты над гаражом и слегка расширенной кухни, хотя и на старой даже с концертным роялем “Чикеринг” было вполне просторно), но без нарочитой традиционности предшественника. Еще сколько-то лет спустя в одном из книжных магазинов Вашингтона ко мне подошла дочь нынешнего владельца дома — та самая, которую он мечтал выдать замуж в нашем саду. Она училась в одном из вашигтонских университетов (то ли Джорджтаунском, то ли Джорджа Вашингтона), а я приехала на встречу с читателями в магазине “Политика и проза”. Она представилась. Сказала, что выросла в “моем” доме. “Заблуждаетесь”, — хотела ответить я. Но сдержалась.

Про Нью-Йорк Джон всегда говорил, что мы в него “возвратились”.

А я нет.

Для меня Brentwood-парк был “тогда”, а Нью-Йорк — “сейчас”.

Досульфуритовый Brentwood-парк — это такое время, такой период, такое десятилетие, когда казалось, что все в жизни складывается как надо.

Наше представление об американской мечте.

Именно так. Устами младенца.

Тогда у нас были автомобили, бассейн, сад.

Были агпантусы — африканские лилии, всполохи пронзительной синевы, парящие на длинных стеблях. Была гаура — взвеси белых прозрачных брызг; глаз начинал различать их, только когда темнело.

Был вощеный английский ситец, китайский орнамент.

Был фландрский буйве, застывший на нижней ступени лестницы — глаз приоткрыт, всегда на страже.

Время идет.

Воспоминания гаснут, видоизменяются, подстраиваются под то, что, как нам кажется, мы помним.

Воспоминание о стефанотисе в ее косе. Воспоминание о татуированной плюмерии, проступившей сквозь тюль. Даже они.

Поистине страшно умереть бездетным. Это сказал Наполеон Бонапарт.

Для смертного тяжелее муки нет, чем мертвыми своих детей увидеть. Это сказал Еврипид.

Все мы смертны, и наши дети не исключение.

Это сказала я.

Вот вспоминаю теперь тот июльский день 2003-го в соборе Св. Иоанна Богослова и поражаюсь, как молодо мы с Джоном выглядим, какими кажемся здоровыми. На самом-то деле здоровьем ни он, ни я не блистали: весной и летом того года Джон перенес несколько операций на сердце, включая установку электронного стимулятора, что, впрочем, мало отразилось на его самочувствии; я же просто потеряла сознание на улице за три недели до свадьбы и провела несколько суток в реанимации Колумбийского пресвитерианского медицинского центра, где мне переливали кровь в связи с неизвестно чем вызванным желудочно-кишечным кровотечением. “А сейчас давайте проглотим маленькую камеру”, — сказали мне в реанимации, надеясь, что с ее помощью удастся установить причину кровотечения. Помню, что отнекивалась, поскольку никогда

не могла проглотить не то что камеру, а обычную таблетку аспирина.

— А если попробовать? Она же *маленькая*.

Пауза. Поняв, что нахрапом меня не взять, перешли к долгой осаде.

— Ну правда же, *прямо крошечная*.

В конце концов я проглотила их крошечную камеру, и она передала на экран желаемое изображение, которое, впрочем, не помогло выяснить, чем вызвано кровотечение, но, несомненно, доказало, что при наличии известной дозы седативных средств любой человек способен проглотить крошечную камеру. В другом случае не менее бесполезного использования последних научно-технических достижений в области медицины Джон мог поднести к сердцу телефон и, набрав номер, снять показания электронного стимулятора, удостоверившись таким образом (так мне, во всяком случае, объяснили), что в момент набора номера (хотя не обязательно до и после) прибор функционирует.

Медицина, как впоследствии мне доводилось убеждаться не раз, искусство несовершенное.

Тем не менее все казалось безоблачным, когда мы выплескивали воду от лей на траву перед собором Св. Иоанна Богослова 26 июля 2003 года. Интересно, сумели бы вы разглядеть (если бы, проходя в тот день по Амстердам-авеню, залюбовались предсвадебной суетой), насколько мать невесты не подготовлена к тому, что произойдет совсем скоро — в том же 2003-м? К скоропостижной смерти отца невесты за обеденным столом в гостиной своего дома?

К индуцированной коме самой невесты, которую реаниматологи подключат к аппарату искусственной вентиляции легких в полной уверенности, что она не переживет ночь? К тому, что это будет лишь первая из множества критических ситуаций, которые приведут к ее смерти через двадцать месяцев?

Двадцать месяцев, в течение которых она сможет обходиться без посторонней помощи от силы месяц.

Двадцать месяцев, в течение которых она неделями будет лежать в реанимационных отделениях четырех различных больниц.

Во всех этих реанимационных отделениях я обнаружу одинаковые бело-голубые больничные занавески на окнах. Всюду будут одинаковые булькающие пластмассовые трубки, одинаковые капающие капельницы, одинаковые перила, одинаковые позывные врачам. Всюду будут одинаковые требования к защите от возможных инфекций: двойные больничные халаты, бахилы, хирургическая шапочка, маска и перчатки, которые не только с трудом натягиваются, но и вызывают красноватую сыпь на коже. Всюду будет подниматься одинаковая суета при вызове к умирающему, топот ног в коридорах, дребезжанье каталок.

Помню, подумала в ярости в третьем из этих реанимационных отделений: “Уж с ней-то этого точно не должно было произойти”, — как будто мне это кто-то обещал.

Когда она попала в четвертое, такие мысли меня больше не посещали.

Все мы смертны, и наши дети не исключение.

Это я уже говорила, но к чему?

А к тому, что, как ни следи за ними, как ни оберегай, нам в итоге придется расписаться в собственном бессилии: у каждого ребенка своя судьба. Другой вопрос: о чем мы хотим рассказать, заводя разговор о детях? Что для нас значит их иметь? Что значит — не иметь? Что значит отпустить в самостоятельное плавание? Или мы хотим рассказать про тайную клятву, которую дают все родители, — защищать то, что заведомо не поддается защите? О том, как это трудно — быть матерью или отцом?

Время идет.

Да, бесспорно, банальность: конечно, идет.

Зачем тогда повторяю, повторила уже не раз?

Или это как с моим утверждением о том, что *большая* часть времени, о котором хочу рассказать, прошла в Калифорнии?

Сама не слышу, что говорю?

Или вкладываю в сказанное иной смысл? Ну, скажем: *время идет, но не так стремительно, чтобы на это следовало обращать внимание*. Или даже: *время идет, но не для меня*. Может ли быть, что я не учла общую природу латентного торможения, необратимость душевных и физических перемен, приводящих к тому, что однажды летом вы просыпаетесь не такими жизнерадостными, как прежде, а к Рождеству обнаруживаете, что ваша способность мобилизовать силы на очередной день утеряна, атрофировалась, стала прошлым? К тому, что вы продолжаете считать, будто *большая* часть вашей жизни прошла в Калифорнии, хотя это уже давно не так? К тому,

что ваше представление о ходе времени (латентном торможении, таянии жизненных сил) умножается, метастазирует, становится самой жизнью?

Время идет.

Может ли быть, что я никогда в это не верила?

Неужели считала, что синие ночи могут длиться вечно?